



Иван Сергеевич Аксаков

В ЧЕМ СИЛА  
РОССИИ?

---

---

Иллюстрированное издание

---

---



МОСКВА  
2019



## ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**С**емейство Аксаковых оставило яркий след в истории русской литературы и философской мысли XIX века. Сергей Тимофеевич (1791—1859), глава семейства, долго «раскачивался» как писатель и раскрылся по-настоящему уже к пятидесяти годам. Его «Семейные хроники», «Записки об уженье рыбы» и «Записки ружейного охотника» вызвали, без преувеличения, восторг у читающей публики и коллег-писателей (И. С. Тургенев о «Записках охотника» отзывался так: «Такой книги у нас еще не бывало»).

Его старший сын, Константин Сергеевич (1817—1860) — публицист, поэт, литературный критик, общественный деятель, но прежде всего он вошел в историю как один из самых ярких проповедников славянофильства. Как отмечали современники, если многие славянофилы лишь нащупывали почву, были «слабы и неуверенны», то Константин Аксаков был слеплен из другого теста: его убежденность в особом пути России была незыблема, а вера в русский народ и его силу была безграничной, если не сказать фанатичной.

Разделял идеи славянофильства и младший сын С. Т. Аксакова, Иван Сергеевич (1823—1886). Он появился на свет в родовом имении в Оренбургской губернии, но его сознательное детство прошло в Москве, куда семья переехала через три года после его рождения. Это был одаренный, но немного замкнутый ребенок, который некоторое время был в тени своих старших братьев и сестер, прежде всего Константина. Отец определил для Ивана судьбу юриста и государственного чиновника, и в 1836 году юноша поступил во вновь созданное Училище правоведения в Санкт-Петербурге. Отучившись шесть лет, в 1842 году Иван вернулся в Москву и летом того же года, в чине титулярного советника, занял должность помощника секретаря во II-м отделении 6-го уголовного департамента Правительствующего сената.

Вновь испеченный чиновник довольно быстро продвигался по служебной лестнице — что, однако, мало удовлетворяло его чаяния и душевные устремления. Тем не менее, вкратце остановимся на карьерном пути Ивана Сергеевича. В 1844 году он был назначен членом ревизионной комиссии в Астрахани, руководил которой князь П. П. Гагарин. По представлению Гагарина Иван Аксаков был пожалован в коллежские ассессоры и летом 1845 года получил назначение на должность товарища председателя Калужской уголовной палаты. В мае 1847 года он вернулся в Москву, в Сенат, где работал обер-секретарем, сначала II-го, а через полгода — I-го отделения 6-го департамента. В следующем году Аксаков был

назначен чиновником особых поручений при министре внутренних дел графе Л. А. Перовском. Вскоре Иван Сергеевич отправился в Бессарабию, где по секретному заданию занимался исследованием религиозных сект.

После возвращения в Москву с Аксаковым произошла довольно странная история: в марте 1849 году он был арестован и доставлен в штаб корпуса жандармов. Причины задержания Ивана Сергеевича, так, по сути, остались непонятны, хотя по большей части вопросы следователей касались славянофильства и политических взглядов. Ответы Аксакова были прочтены императором Николаем I, который через несколько дней написал шефу жандармов А. Ф. Орлову: «Призови, прочти, вразуми и отпусти». Аксаков действительно был отпущен, хотя и оставался некоторое время под полицейским надзором.

В мае 1849 года Иван Сергеевич был командирован в Ярославскую губернию, где снова занимался вопросами раскольников и других сект. А в 1851 году граф Перовский, до которого дошли сведения о стихотворных опытах Аксакова, указал ему, что подобное занятие «негоже для человека, обличенного государственным доверием». Это вынудило Ивана Сергеевича сделать шаг, о котором он, очевидно, уже давно подумывал: Аксаков решил покинуть государственную службу. Теперь смыслом его жизни стала литературная и общественная деятельность.

Первые литературные и поэтические опыты Ивана Аксакова относятся еще к началу 1840-х годов, а первым опубликованным произведением стало стихотворение «Колумб», помещенное в № 1 журнала «Москвитянина» за 1845 год.

В этой небольшой вступительной статье мы не будем останавливаться на том, что же такое славянофильство, откуда оно идет его истоки и в чем заключается суть извечного спора славянофилов и западников. Отметим только, что со славянофильством, с попытками понять, в чем же заключается сила России, связана практически вся сознательная жизнь Ивана Сергеевича.

Понятие «общественный деятель» уже давно стало штампом, и это справедливо — но только не в отношении Ивана Аксакова. Он никогда не сторонился жизни народа, общества, России, и потому, когда началась Крымская война, не раздумывая записался в ополчение. Серпуховская дружина, в составе которой был Аксаков,

дошла до Бессарабии, а после заключения мира он вернулся в Москву. В 1858 году Иван Сергеевич стал негласным (еще в 1853 году ему было запрещено занимать пост редактора в каком-либо издании) редактором журнала «Русская беседа», который был одним из главных печатных органов славянофилов. В 1861 году, после того как запрет на редакторскую деятельность был снят, Аксаков добился учреждения газеты «День». «Пророк и знамя славянофильства», как называли Ивана Сергеевича, вывел «День» на ведущие позиции — число только подписчиков газеты превышало 4000, что по тем временам было весьма значительной цифрой.

Успешное редактирование «Дня» было прервано в конце 1865 года по вполне понятным и приятным причинам: Иван Аксаков женился на дочери известного поэта Федора Тютчева фрейлине Анне Федоровне Тютчевой (1829—1889). Супруга разделяла взгляды славянофилов, и на протяжении всей совместной жизни была верной соратницей и помощницей мужу.

К активной деятельности Иван Сергеевич вернулся в начале 1867 года, занявшись изданием газеты «Москва». Публикации «Москвы» не раз вызывали неудовольствие властей, что в итоге привело к закрытию газеты и очередному запрету для Аксакова — он был лишен права выпускать какие бы то ни было периодические издания.

В 1870-х годах деятельность Ивана Аксакова сосредоточилась, во-первых, на Московском славянском комитете, и, во-вторых, Втором московском обществе взаимного кредита, где он был председателем правления. В 1878 г. на заседании Славянского комитета произнес речь, в которой подверг резкой критике действия российских дипломатов на Берлинском конгрессе (этот конгресс подводил итоги Русско-турецкой войны 1877—1878 годов). Эта с речь, с одной стороны, быстро стала знаменитой, а с другой стала причиной высылки И. С. Аксакова из Москвы во Владимирскую губернию.

Вернувшись в Москву, И. С. Аксаков при содействии министра внутренних дел М. Т. Лорис-Меликова сумел добиться разрешения на издание очередной газеты — на этот раз под названием «Русь». Она выходила до самой смерти Ивана Сергеевича, последовавшей 27 января (8 февраля) 1886 года. Похоронен он был в Сергиевом Посаде на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

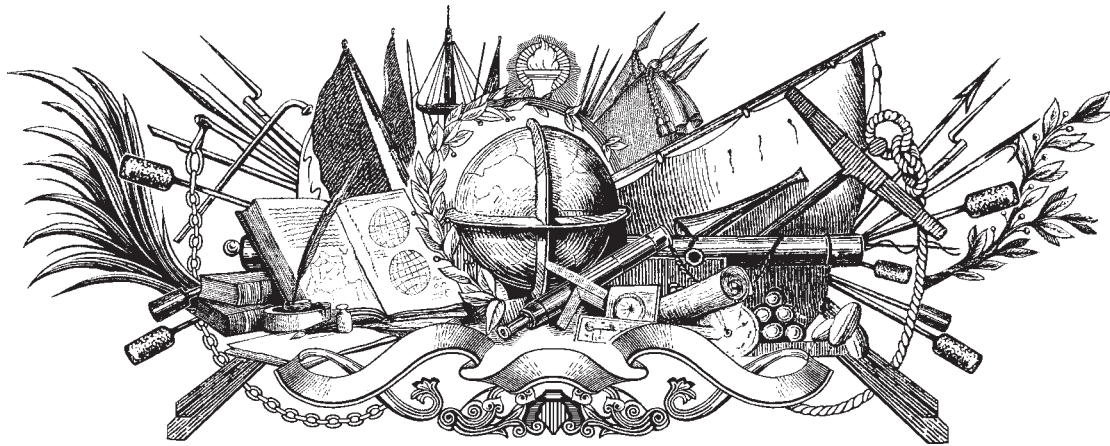


В. Д. СМИРНОВ

АКСАКОВЫ.  
ИХ ЖИЗНЬ  
И ЛИТЕРАТУРНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ







## МОСКОВСКИЙ КРУЖОК СЛАВЯНОФИЛОВ

**С**лавянофильство или руссизм не как теория, не как учение, а как оскорбленное народное чувство, как темное воспоминание и массовый инстинкт, как противодействие исключительно иностранному влиянию существовало со времени обривания первой бороды Петром Великим.

Противодействие петербургскому «объевропеиванию» России никогда не пережалось; казненное, четвертованное, повешенное на зубцах Кремля и там простреленное Меншиковым и другими царскими «потешными» в виде буйных стрельцов; убитое в рavelине петербургской крепости в лице царевича Алексея, оно — это противодействие — является как партия Долгоруких при Петре II, как ненависть к немцам при Бироне, как разнузданная брань гениального Ломоносова, как сама Елизавета, опиравшаяся на тогдашних славянофилов, чтобы сесть на престол: ведь народ в Москве ждал, что при ее короновании выйдет приказ избить немцев. Все раскольники — славянофилы по настроению. Солдаты, требовавшие смены Барклая-де-Толли за его немецкую фамилию, были предшественниками Хомякова<sup>1</sup> и его друзей.

Война 1812 года сильно развила чувство народного сознания и любви к родине, но патриотизм 1812 года не имел старообрядчески-славянского характера. Мы его видим в Карамзине и Пушкине, в самом императоре Александре. Практически он был выражением того инстинкта силы, который чувствуют все могучие народы, когда их задевают чужие; потом это было торжественное чувство победы, гордое сознание данного отпора. Но теория его была слаба; для того чтобы любить русскую историю, патриоты перекладывали ее на европейские нравы; они вообще переводили с французского на русский римско-греческий патриотизм Корнеля и Расина и не шли далее стиха:

Pour un coeur bien ne, gue la patrie est chere!<sup>2</sup>

Правда, Шишков<sup>3</sup> бредил уже и тогда о восстановлении старого слога, но влияние его было ограничено. Что же касается до настоящего народного слога, то его

---

<sup>1</sup> Алексей Степанович Хомяков (1804—1860) — русский поэт, художник, публицист, богослов, философ, основоположник раннего славянофильства.

<sup>2</sup> Как дорого отечество для благородно рожденного сердца! (фр.).

<sup>3</sup> Александр Семенович Шишков (1754—1841) — русский писатель, литературовед, филолог, мемуарист, военный и государственный деятель, адмирал (1824). Государственный секретарь и министр народного просвещения. Один из ведущих российских идеологов времен Отечественной войны 1812 г., известный консерватор, инициатор издания охранительного цензурного устава 1826 г.



Михаил Николаевич Загоскин  
(1789—1852)

знал один офранцузенный граф Ростопчин<sup>1</sup>, да и тот частенько перевирал его, преобразовывая в «балаганный стиль».

По мере того как война забывалась, патриотизм этот утихал и выродился наконец, с одной стороны, в подлую циническую лезть «Северной пчелы»<sup>2</sup>, с другой — в пошлый загоскинский патриотизм<sup>3</sup>, называвший Шую Манчестром, Шубуева — Рафаэлем, хваставший штыками

и дистанцией огромного размера «от стен Кремля до стен Китая»...

Только при императоре Николае славянофильство из настроения обратилось в доктрину, теорию. В этом многое было повинно, и прежде всего режим николаевского царствования. Удивительное время!

«Создалась, — говорит г-н Любимов<sup>4</sup>, большой сторонник Каткова<sup>5</sup> и „Московских ведомостей“, — правительственная система, с которой не мог примириться ни один независимый ум, прилаживаться к которой свободная мысль могла, лишь заглушая себя, скрываясь, побеждая себя, сосредоточивая внимание на светлых сторонах и закрывая глаза на темные, удовлетворяясь довольством личного положения, лицемеря вольно или невольно, чтобы не прать против рожна».

«Государственная идея, высокая сама по себе и крепкая в державном источнике ее, в практике жизни приняла исключительную форму „начальства“. Начальство сделалось все в стране. Все Кесареви — Богови оставалось весьма немного. Все сводилось к простоте отношений начальника и подчиненного. Губернатор, при какой-то ссылке на закон, взявший со стола том свода законов и севший на него с вопросом: „Где закон?“, был лицом типическим, в частности, добрым и справедливым человеком».

«В то время, — продолжает г-н Любимов, — купец торговал, потому что была на то милость начальства; обыватель ходил по улице, спал после обеда в силу начальственного позволения; приказный пил водку, женился, плодил детей, брал взятки по милости начальнического снисхождения. Воздухом дышали, потому что начальство, снисходя к слабости нашей, отпускало в атмосферу достаточное количество кислорода.

<sup>1</sup> Федор Васильевич Ростопчин (1763—1826) — российский государственный деятель, генерал от инфантерии, фаворит императора Павла и руководитель его внешней политики, московский градоначальник и генерал-губернатор Москвы во время наполеоновского нашествия. Известен также как писатель и публицист патриотического толка, вслед за Фонвизиним высмеивавший галломанию. С 1823 г. в отставке, уехал жить в Париж.

<sup>2</sup> «Северная пчела» — русская политическая и литературная газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге в 1825—1864 гг. С конца 1820-х до середины 1850 гг. — негласный орган III Отделения.

<sup>3</sup> Михаил Николаевич Загоскин (1789—1852) — русский писатель и драматург, директор московских театров и московской оружейной палаты. В начале 1830-х гг. прославился как автор первых в России исторических романов. Один из популярнейших писателей своего времени, Загоскин при жизни имел славу «русского Вальтер Скотта», которая со временем увяла.

<sup>4</sup> Николай Алексеевич Любимов (1830—1897) — русский физик, заслуженный профессор Московского университета, публицист, один из ведущих сотрудников М. Н. Каткова в «Московских ведомостях» и «Русском вестнике».

<sup>5</sup> Михаил Никифорович Катков (1818—1887) — влиятельный русский публицист, издатель, литературный критик консервативно-охранительных взглядов. Редактор газеты «Московские ведомости», основоположник русской политической журналистики. В своих изданиях обеспечивал идеологическую поддержку контрреформам Александра III.



Рыба плавала в воде, птицы пели в лесу, потому что так разрешено было начальством. Начальник был безответственен в отношении своих к подчиненным, но имел, в тех же условиях, начальство и над собою. Для народа, несшего тяготы и крепостных, и государственных повинностей, с включением тяжелой рекрутчины, то было время нелегкой службы. Военные люди как представители дисциплины и подчинения имели первенствующее значение, считались годными для всех родов службы. Гусарский полковник заседал в синоде в качестве обер-прокурора. Зато полковой священник, подчиненный оберсвященнику, был служивый в рясе, независимый от архиерея... Всякая независимая от службы деятельность человека считалась разве только терпимой при незаметности и немедленно возбуждала опасение, как только чем-либо ясно обнаруживалась... Телесные наказания считались главным орудием дисциплины и основой общественного воспитания. От учения требовали только практической пригодности, наука была в подозрении. С 1848 года преследование независимости во всех ее формах приняло мрачный характер».

При таких обстоятельствах, при такой тяжести жизни почва для утопий, для всяческих мечтаний готова. Славянофилы не замедлили выдвинуть на сцену свою утопию, свои мечтания, что было им так же необходимо, как глоток свежего воздуха задыхающемуся человеку. Обстоятельства заставили их организоваться, сплотиться и подыскать философские подпорки для своих вождений.

Летом 1836 года в одном из журналов того времени появилось знаменитое письмо Чаадаева<sup>1</sup>. «Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, — все равно надо было проснуться».

Что, кажется, значат два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем, такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране мечтаний, непривыкшей к свободному говору, что письмо Чаадаева потрясло всю



**Петр Яковлевич Чаадаев**  
(1794—1856)

мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горя от ума» не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними — десятилетнее молчание. Мысль исподволь работала, но ни до чего не доходила. Говорить было опасно, да и нечего было сказать; вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтобы спокойно сказать: «Lasciate ogni speranza»<sup>2</sup>.

«Со второй, третьей страницы письма, — говорит современник, — меня остановил печально-серьезный тон: от каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Так пишут только люди, долго думавшие, много думавшие и много испытывавшие в жизни... Читаю далее — письмо растет, оно становится мрачным

<sup>1</sup> *Петр Яковлевич Чаадаев* (1794—1856) — русский философ и публицист. В 1829—1831 гг. он создает свое главное произведение — «Философические письма». Публикация первого из них в журнале «Телескоп» в 1836 г. вызвала резкое недовольство властей из-за выраженного в нем горького негодования по поводу отлученности России от «всемирного воспитания человеческого рода», «духовного застоя, препятствующего исполнению предначертанной свыше исторической миссии». Журнал был закрыт, издатель Н. И. Надеждин сослан, а Чаадаев — объявлен сумасшедшим.

<sup>2</sup> Оставьте всякую надежду (*итал.*).



обвинительным актом, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце.

Каждый чувствовал тяготу. У каждого было что-то на сердце и все-таки все молчали, наконец пришел человек, который по-своему сказал — что. Он сказал только про боль, светлого ничего нет в его словах, да нет ничего и во взгляде. Письмо Чаадаева — безжалостный крик боли и упрека петровской России, она имела право на него; разве эта среда жалела, щадила автора или кого-нибудь?»

Разумеется, такой голос должен был вызвать против себя оппозицию, или он был бы совершенно прав, говоря, что «прошедшее России пусто, настоящее невыносимо, а будущего для нее вовсе нет», что «это пробел недоразумения, грозный урок, данный народам — до чего отчуждение и рабство могут довести». Это было покаяние и движение. Оно и не прошло так. На минуту все, даже сонные и забитые, воспрянули, испугавшись зловещего голоса. Все были изумлены, большинство было оскорблено, человек десять громко и горячо аплодировали автору.



Э. А. Дмитриев-Мамонтов.  
А. С. Хомяков в мурмолке.  
Карандашный набросок. 1850-е гг.

История России — грозный урок, данный народам, «до чего отчуждение и рабство могут довести», — такова основная мысль Чаадаева. Искренняя, выстраданная, она, однако, несправедлива до резкости, до обиды. Комментируя ее, Чаадаев говорил: «В Москве каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем зазвонил. Удивительный город, где достопримечательности отличаются нелепостью; или, может быть, этот большой колокол без языка — иероглиф, выражающий эту огромную немую страну, которую заселяет племя, назвавшее себя славянами, как бы удивляясь, что имеет слово человеческое»...

Нельзя было оставить без отпора такое неуважение. Чаадаев и славянофилы равно стояли перед неразгаданным сфинксом русской жизни; они равно спрашивали: «Что же будет? Так жить невозможно; тягость и нелепость окружающего очевидно невыносима — где же выход?»

«Его нет», — отвечает человек петровского периода, исключительно западной цивилизации, веривший при Александре I в европейскую будущность России. Он печально указывал, к чему привели усилия целого века: образование дало только новые средства угнетения, народ стонет под игом, горшем прежнего. «История других народов, — говорит он, — повесть их освобождения. Русская история — развитие крепостного состояния». «Переворот Петра сделал из нас худшее, что могло сделать из людей, — просвещенных рабов. Довольно мучились мы в этом тяжелом, смутном нравственном состоянии, непонятые народом, отшатнувшиеся от него, — пора отдохнуть, пора свести в свою душу мир, прислониться к чему-нибудь». Это почти значило: «пора умереть», и Чаадаев «прислонился» к католицизму.

Славянофилы решили вопрос иначе.

В их решении лежало верное сознание живой души в народе, чутье их было пронизательнее их разумения. Они поняли, что современное состояние России не смертельная, а лишь временная болезнь. И в то время как у Чаадаева слабо мерцает возможность спасения лиц, а не народа, у славянофилов явно проглядывает мысль о гибели лиц, захваченных современной эпохой, и вера в спасение народа — его будущность.

«Выход за нами, — говорили славянофилы, — выход — в отречении от петербургского периода, возвращение к народу, с которым разобщило



иностранное образование: воротимся к прежним, допетровским нравам».

Верное хорошее настроение воплотилось в странную форму. История не возвращается: жизнь богата тканями, ей никогда не бывают нужны старые платья. Все восстановления, все реставрации были всегда маскарадами: ни легитимисты не возвратились ко временам Людовика XIV, ни республиканцы — к 8 Термидору. Случившееся стоит писаного, его не вырубишь топором... хотя бы самой гильотиной.

Нам, сверх того, и не к чему возвращаться. Государственная жизнь допетровской России была уродлива, бедна, дика, — а к ней-то и хотели славянофилы возвратиться, хотя они и не признаются в этом: как же иначе объяснить все археологические воскрешения, поклонение нравам и обычаям прежнего времени и сами попытки возвратиться не к современной одежде крестьян, а к старинным неуклюжим боярским костюмам. И что это за ненависть к фракам и брюкам немецко-парижского покроя? Во всей России, кроме славянофилов, никто не носил мурмолок<sup>1</sup>. К. С. Аксаков оделся так «национально», что народ на улицах принимал его за персиянина, как рассказывает, шутя, Чаадаев.

Мурmolки и персидские кафтаны должны были набрасывать тень на все славянофильские теории. Эта тень по необходимости ступила, когда узкий, назойливый, даже наглый, национализм нашел себе убежище и радушный прием в славянофильском лагере.

«Так, например, в конце тридцатых годов был в Москве проездом панславист Гай<sup>2</sup>. Москвитяне верят вообще всем иностранцам; Гай был больше чем иностранец, он был „наш брат“ славянин. Ему, стало быть, нетрудно было разжалобить наших славян судьбой страждущих и православной братии в Далмации и Кроации; огромная подписка была сделана в несколько дней, и сверх того Гаю был дан обед во имя всех сербских и русняцких



Людевит Гай  
(1809—1872)

симпатий. За обедом один из нежнейших по голосу и по занятиям славянофилов, человек красного православия, — К. Аксаков<sup>3</sup>, — разгоряченный, вероятно, тостами за черногорского владыку, за разных великих босняков, чехов и словаков, импровизировал стихи, в которых было следующее „не совсем“ христианское выражение:

Упьюся я кровью мадяров и немцев...

Все неповрежденные с отвращением услышали эту фразу. По счастью, остроумный статистик Андросов<sup>4</sup> выручил кровожадного певца; он вскочил со своего места, схватил десертный ножик

<sup>1</sup> *Мурmolка* — высокая шапка с плоской тульей из алтабаса, бархата или парчи, с меховой лопастью в виде отворотов, которые спереди пристегивались к тулье петлями и пуговицами. Мурmolки украшались иногда запонкой с жемчугом и белым дорогим пером. Между царскими наголовьями они не встречаются, а носились преимущественно боярами. До конца XIX века в некоторых местах Новгородской, Псковской, Санкт-Петербургской губерний мурmolками назывались круглые шапки с меховым верхом и со стеганой подкладкой, без отворотов. В середине XIX века мурmolка вошла в моду среди русских славянофилов, ее носили К. С. Аксаков, А. С. Хомяков и другие, что вызывало насмешки со стороны западников.

<sup>2</sup> *Людевит Гай* (1809—1872) — хорватский поэт, просветитель, лингвист.

<sup>3</sup> *Константин Сергеевич Аксаков* (1817—1860) — русский публицист, поэт, литературный критик, историк и лингвист, глава русских славянофилов и идеолог славянофильства.

<sup>4</sup> *Василий Петрович Андросов* (1803—1841) — российский экономист, статистик, агроном, общественный деятель.



Степан Петрович Шевырев  
(1806—1864)

и сказал: „Господа, извините меня; я вас оставлю на минуту; мне пришло в голову, что хозяин моего дома, старик настройщик Диз, — немец; я сбегаю его прирезать и сейчас же возвращусь”». Гром смеха заглушил негодование».

Письмо Чаадаева заставило славян организоваться. В начале [18]40-х годов они были в полном боевом порядке со своей легкой кавалерией под начальством Хомякова и чрезвычайно тяжелой пехотой Шевырева<sup>1</sup> и Погодина<sup>2</sup>, со своими застрельщиками, охотниками, ультраякобинцами, отвергавшими все бывшее после киевского периода, и умеренными, отвергавшими только петербургский период; у них были свои кафедры в университете, свое ежемесячное обозрение, как бы символически выходившее всегда двумя месяцами позже, чем следовало, но все же выходившее.

При главном штабе состояли православные гегельянцы, византийские богословы, мистические поэты, множество женщин и пр., и пр. По всей линии происходили ожесточенные стычки с западниками.

...возникли споры (как это водится в Москве) о славянофильстве, о статье Аксакова о богатырях, а наконец и о речи Роберта Пиля, за которую упомянутый граф [Бобринский] вздумал заступаться. — «После этого Вы не патриот», — заметил профессор [Шевырев]. На эти слова граф с изумительной находчивостью и совершенным à propos возразил: «А ты, сукин сын, женат на выблядке!» — «А ты сам приходишь от выблядка», — в свою очередь заметил профессор и бац графа в рожу ... Вот тебе, милый Герцен, подробное — и во всех своих подробностях точное описание этой знаменитой драки, от которой по всей Москве стон стоял стоном.

*И. С. Тургенев.*

*Из письма А. И. Герцену от 21 февраля 1857 г.*

Эти постоянные, через день повторявшиеся стычки очень интересовали литературные салоны в Москве. Надо заметить вообще, что Москва входила тогда в ту эпоху возбужденности умственных интересов, когда литературные вопросы, за невозможностью политических, становятся вопросами жизни. Появление замечательной книги, например «Мертвых душ», составляло событие. Критики и антикритики читались и комментировались с тем вниманием, с каким, бывало, во Франции или Англии следили за парламентскими прениями. Подавленность всех других сфер человеческой деятельности бросала образованную часть общества в книжный мир и в нем одном действительно совершался глухо и полумекками протест против тяготы жизни. В лице западников, и Грановского по преимуществу, московское общество приветствовало рвавшуюся к свободе мысль Запада, — мысль умственной независимости и борьбы за нее. В лице славянофилов оно протестовало против оскорбленного чувства народности.

<sup>1</sup> Степан Петрович Шевырев (1806—1864) — русский литературный критик, историк литературы, поэт славянофильских убеждений, ординарный профессор и декан Московского университета, академик Петербургской Академии наук.

<sup>2</sup> Михаил Петрович Погодин (1800—1875) — российский историк, коллекционер, журналист и публицист, писатель-беллетрист, издатель консервативных взглядов. В середине XIX в. интерес к славянству и славянской истории, понимание самобытности русской истории сблизили Погодина со славянофилами. В 1841—1856 гг. он издавал близкий к славянофилам журнал «Москвитянин». Разрабатывал идеи панславизма.



Все это, разумеется, совершалось на вершинах общества, нисколько не затрагивая массы. В то время и славянофильство, и западничество по необходимости были эзотерическими, «внутренними» учениями, истинный смысл которых был доступен лишь немногим посвященным.

«Я в Москве знал, — говорит один современник, — два круга, два полюса ее общественной жизни. Сначала я был потерян в обществе стариков гвардейских офицеров времени Екатерины, товарищей моего отца, и других стариков, нашедших тихое убежище в странноприимном сенате, товарищей его брата. Потом я знал другую, молодую Москву — литературно-светскую. Что прозябало и жило между старцами пера и меча, дожидавшимися своих похорон по рангу, и их сыновьями или внучатами, не искавшими никакого ранга и занимавшимися „книжками и мыслями“, я не знал и не хотел знать. Промежуточная среда эта — настоящая николаевская Русь — была бесцветна и пошла, без екатерининской оригинальности, без отваги и удали людей 1812 года, без наших стремлений и интересов... Говоря о московских гостиных и столовых, я говорю о тех, в которых некогда царил А. С. Пушкин, давали тон декабристы, смеялся Грибоедов, где М. Орлов<sup>1</sup> и А. Ермолов<sup>2</sup> встречали дружеский

привет, потому что они были в опале; где, наконец, А. Хомяков спорил до 9 часов утра, начавши в 9 вечера, где К. Аксаков с мурмолкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал, где Р. выводил логически личного Бога ad majorem gloriam Hegelii<sup>3</sup>, где Грановский<sup>4</sup> являлся со своей тихой, но твердой речью, где все помнили Бакунина<sup>5</sup> и Станкевича<sup>6</sup>, где Чаадаев, тщательно одетый, с нежным, как из воску, лицом, сердил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отличными в оригинальную форму и намеренно замороженными, где молодой старик А. И. Тургенев<sup>7</sup> мило сплетничал обо всех знаменитостях Европы, от Шатобриана<sup>8</sup> и Рекамье<sup>9</sup> до Шеллинга<sup>10</sup> и Рахели Фарнгаген<sup>11</sup>, где Боткин<sup>12</sup> и Крюков<sup>13</sup> патетически наслаждались рассказами М. С. Щепкина<sup>14</sup> и куда, наконец, падал, как конгревова ракета, Белинский, выжигая кругом все, что попадало...»

В этих кружках за литературными чаями и литературными ужинами все волновалось и кипело. Москва принимала деятельное участие в спорах за мурмолки и против них, барыни и барышники читали статьи очень скучные, слушали прения очень длинные, спорили сами за К. Аксакова или за Грановского, жалели только, что Аксаков слишком славянин, а Грановский недостаточно

<sup>1</sup> Михаил Федорович Орлов (1788—1842) — российский военачальник, генерал-майор, участник Наполеоновских войн, составивший условия капитуляции Парижа союзной армии. В 1820-е гг. получил известность как общественный деятель либерального направления, декабрист.

<sup>2</sup> Алексей Петрович Ермолов (1777—1861) — российский военачальник и государственный деятель, участник многих крупных войн, которые Российская империя вела с 1790-х по 1820-е. Генерал от инфантерии (1818) и генерал от артиллерии (1837). Главнокомандующий на первом этапе Кавказской войны (до 1827 года).

<sup>3</sup> К вящей славе Гегеля (*лат.*)

<sup>4</sup> Тимофей Николаевич Грановский (1813—1855) — русский историк-медиевист, заложивший основы научной разработки западноевропейского Средневековья в России, ординарный профессор и декан историко-филологического факультета Московского университета. Идеолог западничества; ближайшим друг Н. П. Огарева и А. И. Герцена.

<sup>5</sup> Михаил Александрович Бакунин (1814—1876) — русский мыслитель и революционер, один из теоретиков анархизма, народничества и панславизма.

<sup>6</sup> Николай Владимирович Станкевич (1813—1840) — русский писатель, поэт, публицист, мыслитель. Организатор и глава круга единомышленников, известного в истории общественной мысли России как «Кружок Станкевича». В Кружок входили Михаил Бакунин, Виссарион Белинский, Василий Боткин, Константин Аксаков.

<sup>7</sup> Александр Иванович Тургенев (1784—1846) — русский историк, чиновник; брат декабриста Н. И. Тургенева.

<sup>8</sup> Франсуа Рене де Шатобриан (1768—1848) — французский писатель, политик и дипломат, ультрароялист, виконт, пэр Франции, консерватор, один из первых представителей романтизма.

<sup>9</sup> Жюли Рекамье (1777—1849) — известная красавица, хозяйка знаменитого литературно-политического салона, который был интеллектуальным центром Парижа.

<sup>10</sup> Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг (1775—1854) — немецкий философ, представитель классической немецкой философии. Выдающийся представитель идеализма в новой философии.

<sup>11</sup> Рахель Фарнгаген фон Энзе (1771—1833) — немецкая писательница эпохи романтизма и европейского Просвещения.

<sup>12</sup> Василий Петрович Боткин (1811—1869) — русский очеркист, литературный критик, переводчик.

<sup>13</sup> Дмитрий Львович Крюков (1809—1845) — русский философ, историк и литературный критик, ординарный профессор Московского университета.

<sup>14</sup> Михаил Семенович Щепкин (1788—1863) — актер, один из основоположников русской актерской школы.

патриот. Споры возобновлялись на всех литературных и нелитературных вечерах, на которых встречались западники и славянофилы, а это бывало раза два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу — у Свербеева, в воскресенье — у Елагиной. Сверх участников в спорах, сверх людей, имевших мнения, на эти вечера приезжали охотники, даже охотницы, и сидели до двух часов ночи, чтобы посмотреть, кто из матадоров кого отделает и как отделают его самого: приезжали в том роде, как встарь ездили на кулачные бои и в амфитеатр за Рогожской заставой.

Ильей Муромцем, разившим всех со стороны православия и славянизма, был А. С. Хомяков, «Горгиас, совопросник мира сего»<sup>1</sup>, по выражению Морошкина<sup>2</sup>. Ум сильный, подвижный, богатый средствами и неразборчивый в них, богатый памятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо проспорил всю свою жизнь. Боец без усталости и отдыха, он бил и колол, нападал и преследовал, осыпал островами и цитатами, пугал и заводил в лес, откуда без молитвы выйти было нельзя.

Философские споры его состояли в том, что он отвергал возможность разумом дойти до истины (один из краеугольных догматов славянофильства); он приписывал разуму одну формальную способность, способность развивать зародыши или зерна, даваемые откровением, получаемые верой. Если же разум оставлен на самого себя, то, бродя в пустоте и строя категорию за категорией, он может обличить свои законы, но никогда не дойдет ни до понятия о духе, ни до понятия о бессмертии. На этом Хомяков бил наголову людей, остановившихся между религией и наукой. Как они ни бились в формах гегелевской методики, какие ни делали построения, Хомяков шел за ними, шаг за шагом, и под конец дул на карточный дом логических формул, или подставлял ногу своим противникам и заставлял их падать

в материализм, от которого они стыдливо отрекались, или в «атеизм», которого они просто боялись. Хомяков торжествовал! Но, разумеется, он не мог не пасовать перед людьми, которые безбоязненно принимали все выводы науки, куда бы она ни вела их.

Тут же были и другие столпы славянофильства, братья Киреевские — Иван<sup>3</sup> и Петр<sup>4</sup>. Оба они стоят печальными теньями на рубеже народного воскресения; непризнанные живыми, не делившие их интересов, они не скидывали савана, не расставались со своей глубокой грустью.

Преждевременно состарившееся лицо Ивана Васильевича носило резкие следы страданий и борьбы. Жизнь ему не улыбалась. С жаром принялся он в своей юности за ежемесячное обозрение «Европеец». Две вышедшие книжки были превосходны, при выходе второй «Европеец» был запрещен. Он поместил в «Деннице» статью о Новикове<sup>5</sup>. «Денница» была схвачена, и цензор Глинка<sup>6</sup> посажен под арест. Киреевский, расстроивший свое состояние «Европейцем», уныло почил в пустыне московской жизни; ничего не представлялось вокруг — он не вытерпел и уехал в деревню, затаив в груди глубокую скорбь и тоску по деятельности. И этого человека, твердого и чистого, как сталь, разъела ржа. Через десять лет он возвратился в Москву из своего отшельничества мистически настроенный.

Положение его в Москве было тяжелое. Совершенной близости, сочувствия у него не было ни с западниками, ни со славянофилами. Между ним и западниками была стена веры и церковных православных догматов. В то же время поклонник свободы и принципов французской революции, он не мог разделять пренебрежения ко всему европейскому новым старообрядцев-славян. Он однажды с глубокой печалью сказал Грановскому: «Сердцем я больше связан с вами, но не делю многого из ваших убеждений; с нашими я ближе верой, но столько же расхожусь

<sup>1</sup> 1 Кор.1:20

<sup>2</sup> Федор Лукич Морошкин (1804—1857) — российский ученый-юрист, ординарный профессор Московского университета.

<sup>3</sup> Иван Васильевич Киреевский (1806—1856) — русский религиозный философ, литературный критик и публицист, один из главных теоретиков славянофильства. Издатель журнала «Европеец», который был запрещен Николаем I за статью Киреевского «Девятнадцатый век», где усматривались требования конституции для России.

<sup>4</sup> Петр Васильевич Киреевский (1808—1856) — русский писатель, переводчик, фольклорист, археограф; младший брат И. В. Киреевского.

<sup>5</sup> Николай Иванович Новиков (1744—1818) — российский журналист, издатель и общественный деятель, масон, одна из крупнейших фигур Русского Просвещения.

<sup>6</sup> Сергей Николаевич Глинка (1776—1847) — русский писатель, публицист, историк. Рупор консервативного национализма, борец с галломанией, предшественник славянофильства.